

Валерий Брюсов

# Последние мученики



Валерий Яковлевич Брюсов

## Последние мученики

«Это письмо было написано ко мне моим несчастным другом, Александром Атанатосом, через несколько дней после его чудесного спасения, в ответ на мои настоятельные просьбы – описать те поразительные сцены, единственным живым свидетелем которых остался он. Письмо было перехвачено агентами Временного Правительства и уничтожено как вредное и безнравственное сочинение. Только после трагической смерти моего друга, когда мне были доставлены оставшиеся после него вещи, я нашел среди его бумаг черновую этого рассказа, а позднее узнал и о судьбе самого письма...»

# Содержание

Предисловие . . . . .	0005
I . . . . .	0007
II . . . . .	0013
III . . . . .	0018
IV . . . . .	0025

**Валерий Брюсов**  
**Последние мученики**  
***Письмо, не дошедшее***  
***по адресу и преданное***  
***сожжению рукой палача***

# Предисловие

Это письмо было написано ко мне моим несчастным другом, Александром Атанатосом, через несколько дней после его чудесного спасения, в ответ на мои настоятельные просьбы – описать те поразительные сцены, единственным живым свидетелем которых остался он. Письмо было перехвачено агентами Временного Правительства и уничтожено как вредное и безнравственное сочинение. Только после трагической смерти моего друга, когда мне были доставлены оставшиеся после него вещи, я нашел среди его бумаг черновую этого рассказа, а позднее узнал и о судьбе самого письма.

Я полагаю, что не должна быть предана забвению правдивая и, сколько могу судить, беспристрастная повесть об одном из характернейших событий, свершившемся в начале того громадного исторического движения, которое его приверженцы именуют теперь «Мировой Революцией». Конечно, записки Александра кидают свет лишь на небольшой уголок того, что происходило в столице в досто-

памятный день восстания, но зато они останутся для некоторых фактов единственным источником, откуда будут черпать свои сведения будущие историки. Я полагаю, что сознание этого обстоятельства заставляло автора с особой внимательностью взвешивать свои слова и, несмотря на некоторую цветистость слога, остаться в пределах строгой исторической правдивости.

В заключение не могу не выразить своей благодарности стране, давшей мне приют, и своей радости, что есть на земле место, где сохранилась свобода печатного слова и где можно смело высказывать суждения, не клонящиеся непременно к прославлению Временных Революционных Правительств.

Ты знаешь, что я, подобно многим, совершенно не был подготовлен ко взрыву революции. Правда, ходили смутные слухи, что на день Нового года назначено всеобщее восстание, но последние тревожные годы научили нас не особенно доверять таким предупреждениям.

Ночные события были для меня совершенной неожиданностью. Я не собирался праздновать Нового года и спокойно работал у себя в комнате. Неожиданно погасло электричество. Пока я успел зажечь свечу, за окнами послышался деревянный треск выстрелов. Мы все уже привыкли к этим звукам, и сомневаться было невозможно.

Я оделся и вышел на улицу.

В совершенной тьме зимней ночи я скорее угадал, чем увидел, толпу народа, колыхавшуюся на улице. Воздух был одним сплошным гулом шагов и голосов. Близкая стрельба не молкла, и мне казалось, что пули вонзаются в стену над самой моей головой. После каждого залпа душу заливала радость, что

смерть миновала.

Но любопытство наблюдателя было сильнее страха. Я медлил у дверей дома в кучке таких же недоумевающих зрителей, как я сам. Мы обменивались отрывистыми вопросами. Внезапно, словно потоп прорвавшейся плотины, нахлынула на нас людская масса, катившаяся в паническом ужасе, с криками. Оставалось или бежать с ней, или быть раздавленным.

Я увидел себя на Площади Славы. Ратуша горела, и свет ее пожара озарял пространство. Мне вспомнился стих Вергилия: «Dant clara incendia lucem»[1]. Ты знаешь размеры этой площади. И вот она была так полна, что трудно было двигаться. Я думаю, там было несколько сот тысяч человек. Лица, озаренные беглым красным огнем, были странны, неузнаваемы.

Я у многих спрашивал, что случилось. Было забавно слышать ряд противоречивых и нелепых ответов. Один говорил, что рабочие избивают всех состоятельных лиц. Другой, что правительство, чтобы положить конец революционному движению, истребляет

всех неимущих. Третий, что все дома минированы и взрыв следует за взрывом. Четвертый стал убеждать меня, что нет никакой революции, но произошло страшное землетрясение.

В это-то время, когда чуть не четверть города толпилась на площади, перед пожарищем, беседуя, удивляясь, волнуясь, и произошло то страшное событие, о котором ты знаешь из газет. Послышался глухой гул оружейного залпа, темнота прорезалась огненной чертой, и разрывной снаряд рухнул в самую гущу людей. Новые вопли покрыли весь шум, оглушили вдруг, словно физический удар. Но в тот же миг рухнул второй снаряд. Потом еще, еще и еще...

Растерявшееся министерство отдало приказ коменданту Центральной крепости стрелять по всем скоплениям народа.

Опять началось бессмысленное бегство. Среди скачущих обломков гранат, в угрожающем грохоте выстрелов, в который вонзались пронзительные крики раненых, — люди металась между каменными стенами, топтали упавших, кулаками сбивали мешающих идти, карабкались на подоконники, на фонари,

вновь падали и в ярости впивались зубами в ноги стоящих подле. Это был ужас и хаос, это был ад, в котором можно было помешаться. Каким образом я был выброшен на Северный бульвар, – не знаю.

Здесь мне встретился отряд революционеров.

Их было немного, человек триста, не более, но то было организованное войско в смятенной толпе. Чтобы узнавать друг друга, у них был отличительный знак: красная повязка на руке. Их мерное движение остановило людской поток. Безумное бегство прекратилось, толпа притихла.

При свете смоляных факелов, делавших все окружающее необычным и несовременным, какой-то человек поднялся на цоколь статуи Севера и сделал знак, что хочет говорить. Я стоял довольно далеко, притиснутый к дереву, и мог уловить только общий смысл речи. Отдельные слова замирали, не долетая до меня.

Говоривший призывал к спокойствию. Объявил, что мирное течение жизни нарушено не будет и что никому из граждан не гро-

зит никакой опасности. Что во всей стране в этот час происходит то же, что и в столице: везде власть временно перешла в руки милиционных Штабов. Что будет казнено только небольшое число лиц – все, принадлежащие к низвергнутому, «нам всем одинаково ненавистному» правительству. Что над этими лицами уже произнесен приговор Тайного Суда.

В заключение оратор сказал что-то о дне, которого ждали тысячелетия, о завоеванной, наконец, свободе народа.

В общем, речь была из самых обыкновенных. Я думал, что толпа сбросит болтуна на землю, прогонит его как шута, забавляющего вздором в минуту опасности. Но со всех сторон слышались неистовые крики одобрения. Люди, за миг перед тем колебавшиеся, недоумевавшие, робевшие, вдруг превратились сами в целую армию безрассудных и самоотверженных мятежников. Оратора подняли на руки, запели революционный гимн.

Тогда я вдруг почувствовал необходимость быть не в толпе, а с людьми, которые мыслят одинаково со мной, среди близких. Мне стало страшно, как бы я сам не поддался нравствен-

ной заразе, носившейся в воздухе, не уподобился всем тем единицам, образующим толпу, которые бессмысленно готовы были приветствовать все, что только объявляет себя революционным... В моей душе возник образ Храма, и я понял, что в эту ночь место каждого из верующих близ тех Символов, которые наше поклонение уже сделало святыней.

Я побежал вдоль по бульвару так скоро, как только можно было при общем движении. Уже везде милиционеры, не желая пока возобновлять электрического тока, устанавливали освещение факелами. Проходили патрули, водворявшие порядок. Там и сям я видел маленькие митинги, вроде того, на котором присутствовал.

Где-то далеко вздрагивали порой залпы.

Я свернул на темный проспект Суда и, почти чутьем вспоминая дорогу среди лабиринта старых улиц, добрался до входа в наш Храм.

Двери были закрыты. Вокруг было безлюдно.

Я постучал в дверь условленным знаком, и меня впустили.

Лестница была слабо освещена лампой.

Словно тени в одном из кругов Дантова ада, толпились, медленно всходили и сходили люди. Полутьма заставляла говорить полуголосом. И чуялось присутствие чего-то жуткого за этим негромким говором.

Я различил знакомых – здесь были и Геро, и Ирина, и Адамантий, и Димитрий, и Ликий, и все, и все. Со мной здоровались. Я спросил Адамантия:

– Что ты обо всем этом думаешь?

Он ответил мне:

– Я думаю, что это – ультиматум. Это, наконец, крушение того нового мира, который, считая со средних веков, просуществовал три тысячелетия. Это – эра новой жизни, которая объединит в одно целое нашу эпоху со времен русско-японских войн и походов Карла Великого на саксов. Но мы, все мы, попавшие между двумя мирами, будем растерты в прах на этих гигантских жерновах.

Я прошел наверх. Чуть озаренный, храмовый зал казался еще громаднее. Углы уходили

в бесконечность. Символы нашего служения таинственно и причудливо вырастали из сумрака.

Группы людей были брошены в полусвет. Где-то слышались женские истерические рыдания.

Меня окликнули. Это была Анастасия. Она сидела на полу. Я опустился подле. Она взяла меня за руки, она, обыкновенно такая сдержанная даже в часы сатурналий, припала ко мне, рыдая, и говорила:

– Итак, все кончено, вся жизнь, вся возможность жить! Поколениями, десятками поколений возвращена моя душа. Я могу дышать только в роскоши. Мне нужны крылья, я не могу ползать. Мне нужно быть над другими, я задыхаюсь, когда слишком многие рядом. Вся моя жизнь в тех изнеженных, в тех утонченных переживаниях, которые возможны только на высоте! Мы – тепличные цветы человечества, которым погибнуть под ветром и пылью. Весь смысл нашего существования был в том, что на нас можно было любоваться. Мы были нужны, чтобы можно было сознать, стоя внизу, высоту, а брошенному

во мрак и в ужас – красоту и свет! Я не хочу, я не хочу вашей свободы, вашего равенства! Я буду лучше вашей коварной рабой, чем товарищем в вашем братстве!

Она рыдала и грозила кому-то, сжимая маленькие кулаки. Я пытался успокоить ее, говорил, что рано еще отчаиваться, что безрассудно доверяться первому впечатлению. Революционеры, конечно, преувеличивают свою победу. Быть может, правительство новым усилием завтра опрокинет их. Быть может, в провинции переворот им не удался... Но Анастасия не слушала меня.

Вдруг все пришло в движение. Многие встали, другие подняли головы. Замелькал свет, и у алтаря предстал Феодосий.

Две дьякониссы, в белых стихарях, несли перед ним, как всегда, высокие светильники. Он был в белоснежном хитоне, с распущенными прядями темных волос, со спокойным и строгим лицом.

Он стал на амвоне, простер благословляющие руки и заговорил. Голос его был как вино, проникающее в душу.

– Сестры и братья! – говорил он. – Вот на-

ступают для нас день радости. Вера наша не может умереть, ибо она – вечная истина бытия, и сами грядущие палачи наши таят ее правду в своем существе. Вера наша – последняя Тайна мира, которой равно поклоняются во всех столетиях и на всех планетах. Но ныне настало для нас время исповедать нашу веру пред веками и вечностью. Нам дано причаститься высшей страсти, предсмертной. Вспомните, сколько раз в исступлении сладострастия бичевали мы свое тело и как боль удваивала сладость причастия. Смертный удар утроит, удесятерит восторг. Смертный удар широко распахнет врата к упоению, какого вы еще не ведали, к ослепительности, какой вы еще не знали. Сестры! Братья! Миг последнего соединения пронизет все наше существо, как молния, и последнее дыхание наше будет криком счастья несказанного. Помните великое откровение о таинственной близости сладострастия и страдания. Ныне предстоит нам своим примером утвердить нашу веру, собою оправдать заповедь о том, что высшая страсть нераздельна от смерти, как и смерть не может не нести в себе стра-

сти. Последние верующие, последние мученики за веру, вижу, вижу венцы славы над головами вашими!

Я уверен, что в голосе Феодосия и во взоре его есть гипнотическая сила. Под влиянием слов его все, кто был в храме, словно преобразились. Я видел экстатические лица. Я слышал восклицания героизма.

Феодосий повелел петь наш гимн. Кто-то сел за орган. Воздух колыхнулся. Мелодия наполнила темный простор, разлилась между нами, сплела нас всех своей неодолимой сетью в одно многоликое существо. Стихи нашего великого поэта невольно вырвались из наших уст, как невольно звучит океан под призывом ветра. Мы были поющими струнами великого оркестра, мы были голосами единого органа, славящего вечную Тайну и творческую Страсть.

Несколько позже меня позвали на Совет Служителей. При свете свечи мы собрались в обычной комнате Совета. Едва можно было различать божественные фрески стен. Председательствовал Феодосий.

Он сделал свод всех сведений о ходе восстания. Положение было безнадежное. Вся армия перешла на сторону революционеров. Все генералы и высшие офицеры арестованы и уже казнены. Центральная крепость взята приступом. Все правительственные здания – дворец, парламент, полицейские посты – заняты милицией. Вести, доходившие из провинции, подтверждали подобный же успех восстания во всех других городах.

Поставили вопрос, что предпринять. Большинство предложило сдаться и подчиниться силе.

Феодосий выслушивал мнения молча. Потом вынул из ларца бумагу и предложил нам рассмотреть ее. То был один из проскрипционных списков Центрального Штаба. В нем были переименованы все служители, заседав-

шие в Совете, в том числе и я. Все мы были приговорены Тайным Судом к смерти.

Наступило смущенное молчание. Феодосий сказал:

– Братья! Не будем вводить в искушение меньших. Если мы откроем этот список всем верным, многие усомнятся. Пожелают предательством и отступничеством купить себе жизнь. Утаив, мы дадим им великую честь подвигом смерти запечатлеть чистоту своей веры. Мы дадим и непосвященным прикоснуться к великой тайне Страсти-Смерти. Позволим же всем объединиться с нами в нашей трижды блаженной судьбе.

Кто-то пытался возражать, но нерешительно. Феодосий спокойно приблизил бумагу с именами к свече и зажег ее. Мы смотрели, как маленький свиток медленно претворялся в пепел.

Тут в дверь постучала дьяконисса. С нами желал говорить представитель Штаба.

Феодосий приказал ввести его.

Вошел человек, молодой, решительный, самоуверенный. Именем Временного Правительства он потребовал, чтобы мы разошлись

по домам. Особый Комитет, по его словам, должен рассмотреть устав нашего религиозного союза и постановить, может ли он считаться безвредным для общественной жизни.

Мы знали, что эти слова – обман, что мы уже осуждены. Несколько мигов все молчали. Две речи, произнесенные затем, – Феодосия и посланца, – я помню наизусть. В немногих словах в них было высказано два мирозерцания.

Вот что сказал Феодосий:

– Напрасно новое правительство говорит с нами этим лживым языком. Нам уже известно, что все мы, присутствующие здесь, приговорены Тайным Судом к казни. Мы знаем, что наша святая вера заранее осуждена вами как безнравственная секта. Но мы не признаем вашей власти и вашего суда. Мы стоим на тех вершинах сознания, до которых вы не достигали никогда, и поэтому не вам судить нас. Если вы хоть немного знакомы с культурной жизнью вашей родины, оглянитесь на всех, собравшихся здесь. Кто это? Это – цвет нашего времени, это – ваши поэты, ваши художники, ваши мыслители.

Мы – выразители, мы голос того безмолвного, вечно немого, что образовано из единиц, подобных вам. Вы – тьма; мы – рождающийся из нее свет. Вы – возможность жизни; мы – самая жизнь. Вы – почва, которая нужна и права лишь потому, что из нее вырастают стебли и цветы – мы. Вы зовете нас разойтись по домам и ждать ваших декретов. Мы требуем, чтобы вы на руках пронесли нас ко дворцу и, коленопреклоненные, ждали наших велений.

Ты знаешь Феодосия. Ты знаешь все его недостатки: его лицемерие и слабодушие, его мелочное тщеславие. Но в этот раз, произнося свою последнюю в жизни проповедь, он воистину был велик и прекрасен. Он казался библейским пророком, говорящим в пустыне к мятежному народу, или апостолом первых времен христианства, где-то в подземельях Колизея, среди толпы мучеников, которых сейчас поведут на арену, на растерзание зверям.

Вот что затем ответил Феодосию вестник:

– Тем лучше, если вы знаете свою участь. Тысячелетний опыт показал нам, что ветхим душам нет места в новой жизни. Они – мерт-

вая сила, которая до сих пор всегда уничтожала все наши победы. В день великого преобразования мира мы решились на необходимую жертву. Мы отсечем всех мертвых, всех, не способных на возрождение, от нашего тела, с тем же страданием, но и с той же безжалостностью, как отсекают больной член. Что вы хвалитесь тем, что вы – поэты и мыслители! В нас довольно сил, чтоб породить новое поколение мудрецов и художников, каких еще никогда не видала земля, которых вы и предугадать не можете. Тот боится потерять, в ком нет силы создать. Мы – сила созидающая. Нам не надо ничего старого. Мы отрекаемся от всякого наследства, потому что сами скуем себе свое сокровище. Вы – прошлое, мы – будущее, а настоящее – это тот меч, который в наших руках!

Поднялся шум. Все говорили разом. Я тоже не мог не крикнуть:

– Да! Вы – варвары, у которых нет предков. Вы презираете культуру веков, потому что не понимаете ее. Вы хвалитесь будущим, потому что духовно вы – нищие. Но будущее без прошлого – немислимо. Вы просто обвал,

падающий благодаря стихийным силам и крушащий в своем падении всю жизнь: храмы и статуи.

Наконец посланец милиционного Штаба сказал нам официальным тоном:

– Именем Временного Правительства даю вам срок до сегодняшнего полдня. К тому времени вы должны раскрыть ворота вашего храма и отдаться в наши руки.

Этим вы спасете от ненужной смерти сотни людей, которых обманом и соблазном привлекли к себе. Все сказано.

– А если мы не подчинимся? – спросил Ликий.

– Мы разрушим орудиями это здание до основания, и вы все будете погребены под обломками.

Посланец вышел.

– Разрушат храм! – повторил Ликий. – Наш храм, лучшее из архитектурных созданий Леандра! Со статуями и картинами величайших мастеров! Со всей нашей библиотекой, пятой в мире!

– Мой друг, – возразил Адамантий, – для них наше искусство уже археология. Бу-

дет ли в их музеях десятков лишних древностей или нет – для них это не так важно.

Кто-то выразил сожаление, что мы выпустили посланца живым. Феодосий остановил говорившего.

– Мы здесь затем, – сказал он, – чтобы пролить свою кровь, а не чужую. Мы здесь для подвига веры, а не для убийства. Не омрачим багровой белизны нашего мученичества черными крыльями злобы и мести.

## IV

Сквозь тяжелые шторы слабо пробивались лучи зимнего брезжущего дня.

Наш храм был полновластно освещен всеми свечами. Я в первый раз видел такой праздник огней. Быть может, было несколько тысяч пламеней.

Феодосий повелел служить...

Никогда еще он не был так величествен. Никогда голоса хора не звучали так торжественно. Никогда красота обнаженной Геро не была так пламенно-ослепительна.

Пьянящие дымы курильниц тонкими облачными перстами ласкали наши лица. В призрачно-синем фимиаме свершались великие обряды пред Символом. Обнаженные отроки, по чину, снимали покровы со святыни. Незримый хор дьяконисс славил Слепую Тайну.

Ароматное, жгуче-сладкое вино, почти не пьяня, возбуждало все трепеты тела, все волнения души. Окрыляло сознание единственности, неповторимости этого мига.

Вот Геро, в золотых сандалиях, с одним зо-

лотозмейным поясом вместо всей одежды, с двенадцатью сестрами, одетыми так же, — пошла в своей тихой круговой пляске вдоль храма. И магические звуки органа, и гармонически-тайное пение увлекало за ней, приковывая взоры к ее плавным колебаниям.

Неприметно, нечувствительно, невольно — все мы уносились в тихой круговой пляске за ней. И это кружение пьянило больше вина, и это движение упояло сильнее ласк, и это служение было выше всех молитв. Ритм музыки ускорялся, и ускорялся ритм пляски, и с простертыми руками мы неслись вперед, кругом, за ней, за единой, за божественной, за Геро. И уже мы увлекались в исступлении, и уже мы задыхались, распаленные тайным огнем, и уже мы трепетали все, осененные божеством.

Тогда послышался голос Феодосия:

— Придите, верные, совершить жертву.

Все остановились, замерли, были недвижимы. Геро, опять стоявшая близ алтаря, вступила на ступени. Феодосий знаком приказал приблизиться юноше, которого я не видел до тех пор. Краснея, он сбросил одежду

и стал близ Геро, обнаженный, как бог, юный, как Ганимед, светлый, как Бальдер.

Врата растворились и поглотили чету. Задвинулась завеса.

Коленопреклоненные, мы воспели гимн.

И Феодосий возгласил нам:

– Свершилось.

Он вынес чашу и благословил нас.

Хлынули исступленные звуки органа, и не было больше сил таить свою страсть. И мы припали один к другому, и во внезапных сумерках вздымившихся курений губы искали губ, руки рук, тела тел. Были сближения, сплетения, единения; были вскрики, стоны, боль и восторг. Было опьянение тысячекостью страсти, когда видишь вокруг все образы, все формы, все возможности служения, все изгибы тел женских, мужских и детских, и всю искаженность и испуганность преображенных лиц.

Никогда, никогда еще не испытывал я, и все тоже, такого пламени, такой ненасытности желаний, бросающей от тела к телу, в двойное, тройное, многочленное объятие. И были не нужны для нас флагелланы, кото-

рые в этот день наравне со всеми были охвачены экстазом страсти.

Вдруг, не знаю, по чьему знаку, густые ткани, застилавшие окна, расторглись, и вся внутренность храма открылась взорам стоявших вне: и изображение Символа, и таинственные фрески стен, и люди, брошенные в странных сочетаниях на мягких коврах.

Яростный крик донесся до нас с улицы.

Тотчас первый выстрел со звоном пронизал зеркальное стекло. За первым последовали другие. Пули со свистом стали вонзаться в стены. Милиционеры не вынесли зрелища, открывшегося их взорам, и не захотели ждать назначенного часа.

Но словно никто не слышал выстрелов. Орган под незримой рукой продолжал свою соблазнительную песнь. Аромат фимиама качался во встревоженном воздухе. И в ясном дневном свете, как раньше, в озарении священных свеч, не ослабевало служение страсти.

Вот Геро, первая, стоявшая во воротах алтаря, качнулась и с покривившимися от боли губами упала. Там и там опустились руки;

другое, и третье, и еще тело поникло, словно в последнем изнеможении.

Началось страшное избиение. Пули падали между нами, как дождь, словно гигантские руки бросали их в нас горстями. Но никто из верных не хотел бежать или самовольно разъять объятий. Все, все – и ничтожные, и маловерные стали героями, стали мучениками, стали святыми. Ужас смерти отрешился от наших душ, словно по магическому слову. Ужас смерти отождествился в наших душах с жаждой сладострастия. Кровью своей запечатлели мы истину нашей веры.

Одни падали, сраженные. Другие, близ поверженных тел, теснее прижимали грудь к груди. Умиравшие еще пытались предсмертным яростным поцелуем довершить начатую ласку. Изнемогающие руки еще тянулись со сладострастным жестом. В груди скорченных тел уже нельзя было узнать, кто ласкает, кто умирает. Среди вскриков нельзя было различить вздоха страсти от смертного стога.

Чьи-то губы еще сдавливали мои, и я чувствовал боль исступленного укуса, который

был, быть может, судорогой умирающего. Я еще держал в руках чье-то тело, холодевшее от упоения или от смерти. Потом темный удар в голову уронил и меня в грудь тел, к братьям и сестрам.

Последнее, что я видел, был образ нашего Символа. Последнее, что я слышал, был возглас Феодосия, повторенный тысячами эхо не под сводами храма, но в бесконечных переходах заливаемой сумраком моей души:

– В руки твои предаю дух мой!

# Примечания

«Ясное зарево дает свет» – *лат.*

[^^^]